Цветаева. М.

Неделя №9 1987 г.

«НЕДЕЛЯ» № 9 (1405). 1987 г.

наши публикации

МАРИНА ЦВЕТАЕВА О БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ

14 июня 1922 года Борис Пастернак, которому попала в руки маленькая книжка Марины Цветаевой «Версты» (тридцать пять стихотворений 1917—1920 гг.), написал восторженное письмо Цветаевой в Берлин, куда она приехала за месяц до этого. Он сожалел, что за несколько случайных встреч в Москве не сблизился с Цветаевой — «несравненным поэтом». «Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов,— сокрушался он,— и существовали уже «Версты», и была на свете та книжная лавка в уровень с панелью, без порога, куда сдала меня ленивая волна теплого плавившегося асфальта! И мне не стыдно признаться в этой своей приверженности самым скверным порокам обывательства: книги не покупаешь потому, что ее можно купить!!! Итак — простите, простите!..» («Звезда», 1975, № 6, стр. 162).

Одновременно с письмом Пастернак послал Цветаевой свою книгу «Сестра моя — жизнь», незадолго до этого вышедшую в Москве, с надписью: «Марине Цветаевой. Б. Пастернак. 14.VI—22. Москва».

Позднее Цветаева писала Пастернаку о его книге: «Я тогда 10 дней жила ею,— как на высоком гребне волны: поддалась (послушалась) и не захлебнулась...» Отклик ее был мгновенным: 3—7 июля она написала большую — в авторский лист — статью-рецензию «Световой ливень», фрагменты из нее печатаются ниже. Так началась долгая и горячая дружба поэтов, оставившая яркий след в истории нашей литературы.

Анна СААКЯНЦ,
секретарь комиссии по литературному наследию М. И. Цветаевой.

Световой ливень

Передо мной книга Б. Пастернака «Сестра моя Жизнь». ...Дубоватая, неуютная, вся в каких-то траурных подтеках,— не то каталог гробовых изделий, не то последняя ставка на жизнь какого-нибудь подыхающего издательства. Такой, впрочем, я ее видела только раз: в первую секунду, как получила, еще раскрыть не успев. Потом я ее уже не закрывала. Это мой двухдневный гость, таскаю ее по всем берлинским просторам: классическим Линдам, магическим Унтергрундам (с ней в руках — никаких крушений!), брала ее в Zoo (знакомиться), беру ее с собой к пансионскому обеду, и — в конце концов — с распахнутой ею на груди — с первым лучом солнца — просыпаюсь. Итак, не два дня, — два года! Право давности на два слова о ней.

* * *

Стихи Пастернака читаю в первый раз. (Слышала — изустно — от Эренбурга, но от присущей и мне фронды, — нет, позабыли мне в люльку боги дар соборной любви! — от исконной ревности, полной невозможности любить вдвоем — тихо упорствовала: «Может быть, и гениально, но мне не нужно»). — С самим Пастернаком я знакома почти что шапочно: три-четыре беглых встречи. — И почти безмолвных, ибо никогда ничего нового не хочу. — Слышала его раз, с другими поэтами, в Политехническом Музее. Говорил он глухо и почти все стихи забывал. Отчужденностью на эстраде явно напоминал Блока. Было впечатление мучительной сосредоточенности, хотелось — как вагон, который не идет — подтолкнуть... «Да ну же...», и так как ни одного слова так и не дошло (какая-то бормота, точно медведь просыпается), нетерпеливая мысль: «Господи, зачем так мучить себя и других!».

Внешнее осуществление Пастернака прекрасно: что-то в лице зараз и от араба и от его коня: настороженность, вслушивание, — и вот-вот... Полнейшая готовность к бегу. — Громадная, тоже конская, дикая и робкая ро́скошь глаз. (Не глаз, а око). Впечатление, что всегда что-то слушает, непрерывность внимания и — вдруг — прорыв в слово — чаще всего довременное какое-то: точно утес заговорил, или дуб. Слово (в беседе) как прерванье исконных немот. Да не только в беседе, то же и с гораздо большим правом опыта могу утвердить и о стихе. Пастернак живет не в слове, как дерево — не явственностью листвы, а корнем (тайной). Под всей книгой — неким огромным кремлевским ходом — тишина.

Тишина, ты лучшее
Из всего, что слышал...

Столь же книга тишизн, сколь щебетов.

Теперь, прежде чем начать о его книге (целом ряде ударов и отдач), два слова о проводах, несущих голос: о стихотворном его даре. Думаю, дар огромен, ибо сущность, огромная, доходит целиком. — Дар, очевидно, в уровень сущности, редчайший случай, чудо, ибо почти над каждой книгой поэта вздох: «С такими данными...» или (неизмеримо реже) — «А доходит же все-таки что-то...» Нет, от этого Бог Пастернака и Пастернак нас — помиловал. Единственен и неделим. Стих — формула его сущности. Божественное «иначе нельзя». Там, где может быть перевес «формы» над «содержанием», или «содержания» над «формой»,— там сущность никогда и не ночевала. — И подражать ему нельзя: подражаемы только одежды. Нужно родиться вторым таким.

О доказуемых сокровищах поэзии Пастернака (ритмах, размерах и пр.) скажут в свое время другие — и наверно — не с меньшей затронутостью, чем я — о сокровищах недоказуемых.

Это дело специалистов поэзии. Моя же специальность — Жизнь.

* * *

«Сестра моя Жизнь»! — Первое мое движение, стерпев ее всю: от первого удара до последнего — руки настежь: так, чтоб все суставы хрустнули. Я попала под нее, как под ливень.

— Ливень: все небо на́ голову, отвесом: ливень впрямь, ливень вкось, — сквозь, сквозняк, спор световых лучей и дождевых, — ты ни при чем: раз уж попал — расти!

— Световой ливень. —

Пастернак — большой поэт. Он сейчас больше всех: большинство из сущих б ы л и, некоторые е с т ь, он один б у д е т. Ибо, по-настоящему, его еще нет: лепет, щебет, дребезг, — весь в Завтра! — захлебывание младенца, — и этот младенец — Мир. Захлебывание. Задохновение. Пастернак не говорит, ему некогда договаривать, он весь разрывается, — точно грудь не вмещает: а — ах! Наших слов он еще не знает: что-то островитянски-ребячески-перворайски невразумительное — и опрокидывающее. В три года это привычно и называется: ребенок, в двадцать три года это непривычно и называется: поэт. (О, равенство, равенство! Скольких нужно было обокрасть Богу вплоть до седьмого колена, чтобы создать одного такого Пастернака!).

Книга посвящена Лермонтову. (Брату?). Осиянность — омраченности. Тяготение естественное: общая тяга к пропасти: пропа́сть. Пастернак и Лермонтов. Родные и врозь идущие, как два крыла.

* * *

Пастернак поэт наибольшей пронзаемости, следовательно — пронзительности. Все в него ударяет. (Есть, очевидно, и справедливость в неравенстве: благодаря вам, единственный поэт, освобожден от небесных громов не один человеческий купол!). Удар. — Отдача. И молниеносность этой отдачи, утысячеренность: тысячегрудое эхо всех его Кавказов. — Понять не успев! — (Отсюда и чаще в первую секунду, а часто и в последнюю — недоумение: что? в чем дело? — ни в чем! Прошло!).

Пастернак — это сплошное настежь: глаза, ноздри, уши, губы, руки... Все двери с петли: в Жизнь! И вместе с тем, его более чем кого-либо нужно в с к р ы т ь. (Поэзия Умыслов). Так, понимаешь Пастернака вопреки Пастернаку — по какому-то свежему — свежейшему! — следу. Молниносный, — он для всех обремененных опытом небес. (Буря — единственный выдох неба, равно, как небо — единственная возможность б ы т ь буре: единственное ристалище ее!).

Иногда он опрокинут: напор жизни за вдруг распахнутой дверью сильней, чем его упорный лоб. Тогда он падает — блаженно — навзничь, более действенный в своей опрокинутости, нежели все задыхающиеся в эту секунду — карьером поверх барьеров — жокеи и курьеры от Поэзии.

* * *

Но довольно захлебываний. Попытаемся здраво и трезво. (Не страшно, уцелеет при наибелейшем дне!) Кстати, о световом в поэзии Пастернака. — Светопись: так бы я назвала. Поэт с в е т л о́ т (как иные, например, темно́т.). Свет. Вечная Мужественность. — Свет в пространстве, свет в движении, световые про́резы (сквозняки), световые взрывы. — какие то световые пиршества. Захлестнут и залит. И не солнцем только: всем, что излучает, — а для него, Пастернака, от всего идут лучи...

* * *

Первое, что в круговой поруке пастернаковских первизн нас поражает: быт. Обилие его, подробность его — и: «прозаичность» его. Не только приметы дня: часа!

Быт у него... почти всегда в движении: мельница, вагон, бродячий запах бродящего вина, говор мембран, шарканье клумб, выхлестнутый чай — я ведь не за уши притягиваю! — проверьте: даже сон у него в движении: пульсирующий висок.

Быта, как косности, как обстановки, как дуба (дубовая, по объявлению, столовая, столь часто подменяемая поэтами — павловскими и екатерининскими палисандрами) — быта, как дуба, вы не найдете вовсе. Его быт на свежем воздухе. Не оседлый: в седле.

Теперь о прозаизме. Многое тут можно было бы сказать — рвется! — но уступим дорогу еще более рвущемуся из меня: самому Пастернаку:

...Он видит, как свадьбы справляют вокруг,
Как спаивают, просыпаются,
Как общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее,— паюсной.
Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто
Умеют обнять табакеркою,
И мстят ему, может быть, только за то,
Что там, где кривят и коверкают,
Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт,
Где трутнями трутся и ползают...

Прозаизм Пастернака, кроме природной зоркости, это святой отпор Жизни — эстетству: топору — табакерке. — Ценнее ценного. Где на протяжении 136 страниц вы найдете хоть одну эстетствующую запятую? Он так же свободен от «общепоэтических» лун-струн, как от «крайне-индивидуальных» зубочисток эстетства. За сто верст на круг обойден этой двойной пошлостью. Он человечен — Durch. Ничего, кроме жизни, и любое средство — лучшее. И — не табакерку Ватто он топчет, сей бытовой титаненок, а ту жизнь, которую можно вместить в табакерку.

* * *

...Пастернак не прятался от Революции в те или иные интеллигентские подвалы. (Не подвал в Революции — только площадь в поле!). Встреча была. — Увидел он ее впервые — там где-то — в маревах — взметнувшейся копной, услышал — в стонущем бегстве дорог. Далась она ему (дошла) как все в его жизни — через природу.

Слово Пастернака о Революции, как слово самой Революции о себе — впереди. Летом 17-го года он шел с ней в шаг: вслушивался.

* * *

О Пастернаке и мысли. Думает? Нет. Есть мысль? Да. Но вне его волевого жеста: это она в нем работает, роет подземные ходы, и вдруг — световым взрывом — наружу. Откровение. Озарение. (Изнутри).

...Но мы умрем со спертостью
Тех розысков в груди...

В этом двустишии, может быть, главная трагедия всей пастернаковской породы: невозможность растратить: приход трагически превышает расход:

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной...

Подготовка текста
Л. МНУХИНА.